

Кошкадохлая / окончание

Category: Nekaýalar, Kitapcy

написано kitapcy | 24 января, 2025

Кошкадохлая / окончание 01.35.

Надеваю кружевные трусы, – это ничего, что у них дыра на жопе, – это его еще больше возбудит, кружевной лифчик... нет, на фиг лифчик! У меня слишком красивая грудь!

Являюсь к нему с неотвратимым видом, как Немезида. Будто даже чувствую легкие взмахи крыльев за своей спиной. Моя колесница резко тормозит, – и я схожу с нее, невесомая от свободы, чуждая милосердию и прекрасная!

– Скуши-скуши-скуши, – тянется по привычке ко мне Стив.

– Что это – скуши? – наконец спрашиваю я, срывая с него треники прямо с трусами и чувствуя, как злоба вливается в меня живительным потоком, помогая преодолеть стагнацию последнего месяца, в какую погрузил меня Стив своей скуши-любовью.

– Это... это squishy-squishy-squishy... – бормочет он, не то борясь со мной, не то помогая мне. Как тебе объяснит – вот когда такой мягкий, и его хочется схватить...

– Я не хочу быть скуши – слышишь! Я тебе не плюшевый кот! – заорала я так, что у самой в ушах стало звенеть. – Я хочу быть непримиримой ко всему, что мне претит, я не хочу терпеть полудохлых эпикурианцев из-за того, что у меня чертов вирус! Благодаря ему я, вопреки своему физическому бессилию, – сильна и свободна! И тебя сделаю таким – хочешь ты этого или нет! Ты будешь бояться болезни, смерти – и быстро жить! Напишешь, прочтешь, полюбишь, съездишь, заработаешь! Побываешь на Голгофе и Килиманджаро, напишешь книгу о России, и, может быть, даже крестишься, язычник проклятый! Натурфилософ недоделанный! Да здравствует вирус, жизнь и смерть!

Стив пытается вырваться, глаза его стали абсолютно круглыми:

– Что ты дела... где кондом?... Зачем ты меня трахат без кондома?

Ты с ума сошла? У тебя же вирус...

В запале я вспоминаю все матерные американские слова, относящиеся к ситуации, — их я выучила еще в школе, — и зрачки любимого перестают двигаться — зато двигается его член — Стив смотрит на меня тупо, как смотрят в глаза Немезиде: он парализован богиней мщения.

Вот и плетка Немезиды — брючный ремень, который валяется тут же, возле дивана. Я хлещу и хлещу его им, — о, как давно мне этого хотелось!

— Не способен даже защитить свое здоровье! Дохляк! И после смерти будешь также болтаться — уязвляемый огромными осаами — даже в ад не примут: в лимбы к своим любимым античным гениям не надейся попасть! Ни Энеиды не написал, ни Илиады!.. Но я спасу тебя! Заставлю экзистировать!.. Перевернись!

— Да, я всегда хотел этого, с тобой! — шепчет он, и слезы текут по его круглым мультяшным щекам. Я все время боюсь, что ты меня бросишь, — но ты и эта родина только ест у меня... Теперь это соединить нас.

И Немезида видит, что человек испытал облегчение: теперь ничего не надо решать, все решено за него.

А я понукаю его, разъярившись:

— Че ты там бормочешь? Двигай задом быстрее и не забывай меня ласкать!

И мы экзистлируем оба — как никогда в жизни, — потому что сплетаются не только наши гениталии, но и нити на мировой прялке!..

Вот сейчас, в этот миг, когда рушатся его клетки и в них проникает Хронос — в виде вируса, который будет в них тикать и тукать ходиками, расшатывая здоровье и раздражая заснувшую нервную систему — когда рушится его прежняя жизнь — нарождается бытие и время, — черт его дери! — новая жизнь, с

которой он будет вступать в красивое единоборство уже в реале, а не на экране компьютера.

Здесь не Америка – здесь от страха не прописывают прозак, здесь от него пишут музыку, стихи или, на худой конец, статьи!

3.30 (по новому, моему – времени)

Пора ужинать.

На борту лайнеров JAT Airways не подают ничего, кроме хлеба с маргарином и холодной минеральной воды.

Раскурочила банку консервированной кукурузы, сварила сардельки.

Ели молча. Стив изредка поднимал на меня испуганные глаза, даже один раз открыл рот, но так ничего и не сказал.

А я вспомнила, как, выдернув меня из хоровода на сербский Новый год, яростно разорвав державшие меня справа и слева мужские руки, – Милорад схватил меня, легко поднял и закинул на плечо. Так и нес по улице – а я, слегка пьяная, перебирала руками и ногами в воздухе, – как будто я плыву по реке, и мне мешают кувшинки...

– Л-л-любишь его, д-да? Я знаю э-этого, – вдруг произнес Стив спокойно, доев все и вычистив хлебом тарелку.

Говорил он спокойно, но внезапно стал заикаться.

– Т-ты-ы его с-с-страстно любиш, и это скоро к-к-кончится у вас. Й...й...а знаю, что у нас с тобой не...б-б-будет детей, поэтому я отношусь к тебе, как к ребенку. И ты относись ко мне, как к р-ребенку. И все будет хорошо. Я читал у Г-г-оголя. «С-с-старомирские помещики». Не понимаю, почему это должно быть смешно. Они же любят друг друга. И у них есть п-покой.

Я не ответила, пошла в комнату и стала кидать тряпки в чемодан.

«Так вот почему он учит языки, – догадалась наконец я, – сильно заикался в юности, обмолвился как-то. Лечили антидепрессантами – на время помогло, но в минуты волнения

болезнь возвращалась, и он решил побороть ее – а ну как я выучу пять языков?! И буду болтать на них, как хочу? И ведь выдюжил! Он не так прост, каким казался мне, я не знала его и не хотела узнать, – подумала я, помедлила некоторое время и снова стала собираться. – Только прозак даром не проходит – из обманчиво-теплой ванны просто так не вылезают. Он еще хорошо отделался: после разоблачения прозака в прессе люди стали отказываться от него – и по Америке прокатилась война самоубийств»...

Искала загранпаспорт, потом забежала к себе в комнату, стала выгребать лекарства из ящика стола, запихивать в пакет. Села на диван, вспомнила тот вечер, когда мы поссорились. Милорад пошел на славу – прославление родового святого – к сестре, оставив меня одну лежать в горячке...

Задумалась, налила еще пятьдесят грамм из бутылки, закурила. Водка всегда помогает при температуре. Когда пьяная – температура не так заметна... Услышала, как щелкает зажигалкой на кухне Стив – и так грустно сделалось оттого, что он сидит на кухне, один, а раньше на кухне мы были всегда вдвоем – ужинали, обедали...

«Он тогда сказал – надо поштовать родственников, – вспомнила я, – он всегда говорил по-сербски, если мы ссорились. То есть... вставлял сербские слова, – как бы настаивая на своем – это наше, не замай. Помню, стоял у моей кровати, широко расставив ноги и сложив руки на груди. Как на той фотографии времен войны... Он вообще крепко стоит на ногах – несмотря на нищету. Он на своей земле, говорит на родном языке, верит в Бога, делает то, что решил делать, – еще в ту пору, когда русский вообще исчез из сербских школ и на смену ему пришел английский. Все смеялись над ним: зачем тебе русский! А он учил, сам, – вот как Стив, – он тоже сам учил. Только он точно знал, зачем учил – хотел переводить русскую литературу. И пережив немыслимые времена, когда зубы начали шататься от голода, – он выстоял, и теперь один из первых переводчиков. А главное – он теперь ничего не боится».

«А Стив приходил ко мне в больницу каждый Божий день, хотя мы были знакомы два месяца, утром звонил и говорил: приду в четыре. И приходил в четыре, – я усмехнулась, – а уходя вечером в восемь, он говорил: я сейчас уйду, а приду завтра в четыре. Какова природа его доброты? Доброта слабого человека, который вынужден быть добрым, или, вернее, поступать, как добрый?.. Но ведь он преодолел свой страх перед речью – и выучил пять языков! И вообще: что такое сила или слабость? Моя сила сейчас в отчаянье, а пройдет оно – и я снова увяну. ...А может, он и правда любит меня? Пробродив в ночном мраке годы, я разучилась видеть свет. Да ведь дело-то не в любви – а в том, что он ничего, в сущности, не хочет».

4.30.

Скоро – через пару часов – выходить. Успеть на одиннадцатичасовой рейс.

Сидит на кухне. Звон стекла о стекло. «Пьет». Поминутно щелкает зажигалка.

«И еще когда я там заболела, в Сербии, и нужны были деньги, – он ушел к тете и дяде, а потом вернулся, и сказал по-сербски, как всегда, когда мы ссорились: не принес, жао ми ње, господжо, они су без парэ, драга господжо...» И когда я сказала: пойди к Миломиру, попроси у него, глаза его потемнели, брови сдвинулись и он произнес: Не желим да узимам парэ од тог шљама! Не хочу брать деньги у этой сволочи! И я осталась одна в доме, а он ушел куда-то, и вся тряслась от озноба, рыданий и страха: опять мнилось мне, что ходит кто-то по чердаку, и стонет в дровянике, что был справа от моей комнаты, – а наутро я узнала, что его отец повесился там – не стал осквернять дом. Рак был у него... Надо же как посыпалось из меня! – я усмехнулась. – А раньше мозг отбирал все строго необходимое для рассказа!»

7.00.

– Проводишь меня? – спросила я у Стива.

– Да, конечно, – сказал он просто.

«А Милорад не проводил бы, наверно, кинул бы чемодан в снег и, матерясь, ушел бы прочь...»

– Надень теплый свитер, – зачем-то сказала я, по привычке, наверное: мне все время приходилось его уговаривать одеваться теплее, моего калифорнийца – он не желал признавать, что в мире есть горе, холод, болезни.

«...Но ведь прижимал же меня к себе там, в больнице, на лестнице, говорил тихо: все будет хорошо?..»

Он принес из комнаты самый теплый свой свитер, напялил его, и голые запястья его беспомощно повисли.

Я засмеялась. Он улыбнулся.

– Я стирал его в машинке, и он сократился.

«Сократился. Как ребенок».

Мы мчимся в такси, я читаю Стиву стихи: «О боль, ты – мудрость, суть решений перед тобой так мелка»... Он смотрит неожиданно глубокими глазами: в них и удивление, – за что ты меня так? – и, кажется, и проблески будущего прозрения.

Через стеклянные двери аэропорта он не идет.

Так и остается стоять по ту сторону, и мы топчемся, разделенные зеркальной поверхностью двери, и близкие, и далекие – как та и эта жизнь.

– Экзистенциально! Как экзистенциально! – кричу я ему в восторге избавления и стучу кулаком по стеклу.

Он, конечно, ничего не понимает, но поймет же... И губы его округляются при слове «What?», как тогда, когда он тянулся ко мне со своими тошнотворными скуши-скуши...

В Шереметьево я бегу к кассе, стою в очереди, твержу

беззвучно: Мило, Мило, Мило... Милый, милый, милый! Мечтаю о его руках, поцелуях, трепещу вся от мысли о том, как он возьмет меня на плечо, как куль с картошкой или поросенка, – и понесет через весь город на свою кровать – и вдруг отчетливо осознаю: «Кровати нет, она продана. А рассказ – дописан. И на хрена мне тогда сидеть в его холодном домишке, трястись по ночам от стонов повесившегося отца, слушать эти нотации на сербском: друзей надо поштовать! Мне плохо, мне больно, отмирает моя бóльшая часть – отец, и значит, мне надо домой. Есть только одно лекарство от всех бед – прислониться к дверному косяку родного дома... А прибавив к своему несчастью чужое, не создашь счастья».

– Белград, рейс 11.30, эконом-класс... – повторяет за мной кассирша и стучит по клавиатуре.

– Нет! – кричу я. – Мне в Казахстан! Вы ослышались! Какой Белград? Зачем? Мне в Актюбинск! Попрощаться! За отца! Он уже не приедет! Он просил!

В ожидании рейса я набираю отцу:

– Здравствуй.

– Как ты там, маешься? Бросай на хер двух своих придурочных и езжай в степь. На хрена тебе они? Из них двоих-то одного путного не сделаешь. Пойдешь с Мишей на кабана. Сейчас как раз сезон охоты. Мороз, водка, охота из тебя тоску-то повытряхнут. Тебе еще нужны будут силы. Дитяtko мое...

Он вздыхает долго и протяжно, молчит.

– А там что-то да решится. С мужиками. Третьего найдешь, – он из последних сил смеется. – Бабушкиной могиле за меня поклонись, хорошо?

Я реву, реву неостановимо, бьюсь головой о стеклянную стену вестибюля:

– Никем! Никогда! Не заменить! Никем! Никогда! Даже мысли одни! Как? Он узнал? Что я? Лечу туда? Как? Найти? Никого!

Никогда! Не найдешь! А-а-а!

И дальше уже спокойно и решительно, в лицо подошедшему ко мне молоденькому курносому милиционеру «с вами все хорошо?»:

– Никого. Никогда. Не найдешь. Ну и хорошо.

«Ты нашла. Себя, – говорит мне отец по телепатической внутренней линии – или это уже я сама, наконец, мыслю? Без оглядок на него? Без страха его осуждения? Без надежды на его похвалу? И да – и нет. Его часть во мне растет и ширится, покуда он слабеет на больничной койке. Перестань выть, – строго говорит не Надя, но уже Надежда Борисовна, да, Борисовна! – Тебя ожидает простор и много работы впереди. Если бы ты поехала в Белград – это было бы бегство, но ты выбрала Казахстан – и опору внутри себя, а не подпорки извне».

15.30 (по московскому времени, которому больше нет нужды спешить вперед)

Рейс Air-Astana. Москва–Актюбинск.

Самолет взлетает, и душа моя как будто поднимается вместе с ним, оставляя на земле терзания любви и мученья творчества. На время, конечно.

19.30 (по казахскому времени) – ура, жизнь задвигалась, аж шум в ушах, – время перескочило на два часа вперед!

В аэропорту, парясь в засаленной камуфляжной куртке, с матерками и поцелуями меня встречает полковник Назаров, мой зять, муж сестры. Я наудачу звякнула ему из самолета, пока еще разрешали звонить. Он как раз приехал в Актюбинск из русской военной части Эмба-2, доживающей свои последние дни в Казахстане, за автопокрышками.

Это, очевидно, Он отдалился: я сегодня сделала за него работу, – а Он облегчил мне путь.

Мы трясемся на «КамАЗе» по ночной степи, и в полусне мне

кажется, что жизнь так же бесконечно просторна, как эта степь. И что я не заперта в клетке существования, в какую поместила меня моя болезнь, а могу пойти и направо, и налево, и назад, и вперед.

– Останови! – ору я Назарову.

Выскакиваю из машины и бегаю вокруг нее, утопая в снегу. Ну и что, что простужусь? Хуже уже не будет! А вот лучше – вдруг будет лучше?.. Такой мысли не замечала я за собой уже давным-давно.

– Залезай обратно! В сапоги снегу наберешь! – командует полковник. – Завтра на охоту поедem, на кабана, набегаясь еще. На вот, – он протягивает мне алюминиевую походную кружку с водкой. – Захвораешь опять, как в прошлом году хворала – Янка убьет меня. Гонял из-за тебя «КамАЗ» за 250 километров за антибиотиками – ух, вспоминать неохота! Медсестру сняли с работы на два дня, она все аптеки обегала в поисках колес твоих... Эх, дохлятина!

И обнимает меня, согревая. Глаза светятся синим-синим, как у Гагарина, и улыбка гагаринская.

И, дотрясаясь до берега Эмбы, разделяющей материк на Европу и Азию – Запад и Восток, мы с Назаровым выходим из «КамАЗа».

Он – для того, чтобы налить в грязную канистру воды, я – для того, чтобы понять, что между двумя мужиками – восточным и западным – никак нельзя выбрать, и нечего морочить себе голову.

– Мы – евразийцы, да? Евразийцы? – спрашиваю я у Назарова и хохочу. – Такие мы! И Восток нас пьянит – и Запад притягивает! Не разорваться же!

– Напилась девка... Нечем закусить-то. Ну ничего, через полчаса будем дома, а там сестрица тебя покормит. Янушок сегодня баранью шурпу наладила. Поешь – и спать.

Но я все еще бегаю по берегу пустынной Эмбы и ору что-то, а полная луна светит с фиолетовых бескрайних небес, и степь вокруг тоже бесконечная, изумрудно-фиолетово-сиреневая, из наползающих друг на друга квадратов и прямоугольников – врубелевская. Или это я плачу?

В меня вонзается миг счастья, – навывлет, как пуля, – и уносится к кому-то другому, со свистом. Я не страдаю, отпуская его – я знаю, что так должно быть.

24.00.

Верчусь на кровати, булькая шурпой в животе. Поверх одеяла – еще Мишина военная замызганная куртка. Сороковник за окном – не шутка.

Что мне приснится? Неужели опятьдохлая кошка? Пусть снится – я ее теперь не боюсь. Завтра мы поедем на охоту, и я увижу мертвых зверей – первый раз в жизни! А кошка пусть снится Стивену – это ж экзистенциализм в чистом виде!

Стив, посылаю тебе мысленный приказ увидеть во снедохлую кошку! Только она тебе приснится – ты тут же бегом за стол, работать! Бороться с кошкой, осмысливать ее, свыкаться с ней. А как свыкаться-то? Только с помощью Бетховена! Значит, откроешь наконец спеленатый в полиэтилен диск. И будешь рыдать – впервые за много лет! У тебя теперь важнейшее время – время тревог. Как в аспирантуре, где ты считался лучшим студентом. И заикание у тебя тогда было, и надежды, и волнения, и страхи, и страсти любовные... Потом-то залечили прозаком этим... Жизнь залечили – насмерть!..

И тогда мы встретимся с тобой, – когда ты вновь станешь кучерявым очкастым заикой, покроешься прыщами, как я, и будешь, трясясь от заикания и волнения, по-мальчишески резко говорить со мной о философии, и спорить, и твердить свое, и кричать, может быть, – негодую от моей тупости!...

А Милораду пусть приснится проданная им багряная кровать, на

которой мы любились, и он, на исходе четвертого десятка, напишет наконец поэму о любви – а то все сатира да переводы. У него это живо получится, когда он вернется в пустой холодный дом из пустого холодного аэропорта: его бросили, да еще дважды! Я знаю: моему сербу будет так больно, что он будет метаться по комнате, материться и выть, и задумает, может, повеситься в том же дровянике, что и отец, но привычка к мýке остановит его.

И тогда он вспомнит, что уйти на ту сторону можно – но не окончательно – а на время, и увидит белое бесконечное пространство, и, может, меня в нем – он увидит, я знаю, он зрячий! Чистую белую степь, посреди которой я теперь, – только на экране компьютера, в программе Word. И она поманит его, – и он войдет в нее, и окажется, что можно пойти налево, вперед или направо, и мы встретимся с ним наконец на этом белом листе – и соединимся там, где уже не разъединяются.

Первая публикация в журнале «Вестник Европы» (№ 31-32 за 2011 г.)

Об авторе: МАРИЯ РЯХОВСКАЯ

Родилась в Москве в 1975 году. Училась в Литературном институте. С 1993 года работала на радио «Свобода», делала передачи в жанре «радиопрозы» для программы «Поверх барьеров». Затем работала в газете «Русский курьер», сотрудничала с другими столичными изданиями. В «толстых журналах» начала публиковаться рано. Как прозаик, эссеист и публицист печаталась в «Октябре», «Дружбе народов», «Новом мире», «Юности», «Новой Юности» и др. Премия журнала «Юность» за 1993 год. Всероссийская Астафьевская премия за 2012 год. Горьковская премия за 2013 год. Neкаýalar